**[Александр Литвинов](https://proza.ru/avtor/litvinov777)**

**«Как хочется жить»**

 Брату моему Виктору
 и сверстникам его,
 изведавшим рабства
 немецкого на заводах
 фирмы «Фольксваген»

Я – ОСТ 3468. ОСТ потому, что я русский. Мне от роду 14 лет. Во мне страх и глухая тоска. И
тяжелая слабость в ногах.
Я тележку качу по проходу меж гудящих прессов. В тележке моей тяжеленной обрубки стальные –
листовые отходы работы прессов.
А вокруг меня немцы. За прессами стоят тоже немцы. Это «Фольксваген»- завод.
Мамка родненькая, тут Германия самая страшная!
По проходу за мной ходит с палкой хохол-полицай, надзиратель мордастый. Я боюсь его палки! Бьет
меня без разбора, Бьет не только меня, но мне кажется, что меня бьет сильнее и чаще других.
Бьют не только хохлы-надзиратели, но и немцы-охранники бьют.
Бьют за то, что совок к концу дня стал тяжелым и просыпался мусор железный; что, держась за
тележку, я стоя уснул на секунду какую-то; что распухшие ноги я долго в колодки вдеваю; что
голову поднял и выпрямил шею и глянул в глаза полицаю-предателю.
Бьют по самым болючим местам. Иногда просто так палкой врежет и матом покроет, чтобы сон от
себя отогнать.
Под одежками-тряпками наши голые кости. И палками бьют по костям… Все по старым болячкам!
Для новых болячек на наших костях уже нету места.
Враги вокруг нас день и ночь, день и ночь.
Ждем отбоя, как самую светлую радость. В темноте хорошо пошептаться друг с другом.
Помечтать… Вот придет наша Красная Армия – и мы будем ловить полицаев и немцев-охранников!
Посмеяться тихонько можно…
Внезапно приходит сон. А во сне мы и стонем, и плачем, и родным своим жалимся, жалимся...
Мамка родненькая! Вечно хочется есть. Есть и спать. И забиться бы в щелочку маленькую, чтоб не
видел никто и никто б никогда не нашел.
И мне кажется: я никогда не наемся. И домой никогда не вернусь.
Если б я знал, что ждет меня тут, я б не дался тогда полицаям, что пришли и забрали меня 12 мая 43-
го года.
Не вспоминал бы тот день, да он забываться не хочет.
Мы только сели обедать все вместе: Вася, Петя, Шурик и вы с теткой Полькой. А Клаве, как
мамкиной дочке, ты борщ отнесла в ее комнату. Только сели – они и явились!
С винтовками двое.
Я твой борщик щавелевый только попробовал, мамка моя! Пару ложек успел отхлебнуть. Тарелка
моя почти полная так и осталась стоять. Там и ложка моя. И хлебца кусаник остался.
Теперь кажется мне, что обед недоеденный тот до сих пор меня ждет на столе.
Те полицаи по дороге сказали, что застрелят меня, если я побегу. Лучше б я побежал!
До отправки в Германию нас под охраной держали в здании банка по Коммунистической улице.
Охраняли полицаи, с утра уже пьяные, поэтому нам удалось убежать. Помнишь, как прилетел я
домой? Я тогда не один убежал. Со мной были хлопцы из Людкова и с нашей Замишевской улицы.
Перед этим побегом нам передали тайком, что в задней стенке уборной, что во дворе у забора,
оторваны доски и держатся только на верхних гвоздях.
Когда вывели нас на прогулку во двор, все, кто знал и не струсил, в уборной доски раздвинули – и
через забор в огороды. И все, кто удрал – по домам разбежались. Вот дураки.
Нас, как котят, похватали и в банк. И охранять стали немцы уже, а не те полицаи.
А 15 мая во дворе банка построили нас и девчонок и под немецким конвоем погнали на станцию.
По Первомайской погнали, потом по Кузнечной.
На Первомайской, у почты, нашу соседку увидел. Обрадовался! А как настоящее имя ее – я не знал.
Только прозвище помнил. И крикнул:
-Говнокопиха! Тетечка! Ради Бога прости! Я не знаю, как тебя звать!
-Ульяна я, детка моя! Ульяна! Куда ж это гонят вас, родненький? А… Наверно в Германию гонят?..
-Дак в Германию, тетечка! Мамке скажи, что нас гонят уже! Нихай прибегая на станцию!
-Скажу, деточка! Щас же скажу!
И заплакала тетка Ульяна. И побегла скорей на Замишевскую улицу. А мне стало как будто бы
легче….
У железнодорожного клуба, когда нас по Кузнечной гнали, к Вальке Высоцкому, что с
Харитоновской улицы , собачка домашняя кинулась. Провожать прибежала вместе с сестрами
Валькиными – Алкой, Надькой и Людкой.
Как собачка та рыженькая к Вальке ластилась! Как она ему руки лизала! Скулила, как плакала.
Мы вокруг Вальки с собачкой столпились. Колонна смешалась и остановилась.
И тут немец носатый к нам в колонну вломился. Раскидал, расшвырял нас по-зверски и собачку
ногой из колонны вышиб сапогом своим кованым.
Закричала собачка пронзительно-больно, а нам сделалось страшно. Мы притихли. А Валька
заплакал…
Каждый понял, что ждет его там, в той Германии.
А потом на Вокзальной улице, у фонтана сухого, где скверик, деда Быстряна увидел с козой. Всегда
мы смеялись над ним и дразнили, что веником мух от козы отгоняет. И зачем мы дразнили? Вот
дураки. Прости меня, дедушка миленький, что дразнил Козлодоем…
Сколько дуростей делал я, мамка моя!.. А тебе сколько крови попортил!.. Прости меня, мамочка
родная… Только на каторге этой понял, что ты, моя мамка, - святая… Сколько раз ты спасала меня в
Неметчине этой фашистской. И я теперь знаю: всегда ты со мной. Где-то рядом. Среди гула прессов
я дыхание слышу твое. И голос твой слышу. Только слов разобрать не могу. А мне говорить с тобой
хочется. И я говорю, говорю, будто ты меня слышишь. И я все рассказываю, и в мыслях письмо
составляю тебе, мамка родненькая. Каждый день составляю. Большое-большое письмо. На всю мою
муку! Единственное.
Мысленно мы в Новозыбкове… И бываем везде, где нам хочется быть. Видим всех… Видим все, чем
вы там занимаетесь… Я вот вижу свой двор, вижу кур с петухом-драчуном. На цепи вижу Эрика
нашего. Вот тетка Полька что-то курам сыпанула, а Эрика не покормила.
«Тетка, опять про собаку забыла!»- крикнуть хочется мне.
«А будь он неладен, собака такой! – тут же слышу в ответ. – Пользы нет! Одно гавканье только…»
Я всегда в Новозыбкове, мамка моя…
В день тот последний, когда нас пригнали на станцию, то запихнули в вагоны товарные, где до нас
были кони. Немцы мокрый навоз как попало убрали, а вонища осталась!
Конвоиры смеялись и носы воротили, а нам было некуда деться.
Ты успела к вагону, когда двери еще не закрыли.
Я помню глаза твои, мамка… Ты говорила мне что-то, говорила… Меня подбодрить старалась.
Улыбнуться пыталась. А я глаза твои помню, как они плакали сами собой, мамка родненькая…
Кто нас провожать пришел, перед дверями вагонов столпились. Стали советы давать, как нам быть в
той Германии, будто они уже там побывали. Заторопились. Заговорили все разом, потом стали
кричать.
Помню, что ты успела сказать:
-Гляди там, сыночек. Крепко не бойся чего… Я тут буду молиться. А ты на рожон там не лезь. Будь
похитрей и себя береги…
А как тут беречь себя, мамка моя – не сказала.
Когда двери вагона закрыли, мы из люков под крышей попеременно выглядывать стали. И видели,
как на перроне длинный такой офицер успокаивал вас. Он по-русски сказал, что в Германии нам
«будет очень прекрасно».
После слов его все, кто пришел провожать, заплакали больно…
И тут поезд пришел «Москва – Гомель», и наш вагон к пассажирскому поезду подцепили. Все мы в
городе знали, что поезда до Москвы не доходят, а только до Брянска. Что Красная Армия гонит
фрицев назад и скоро придет в Новозыбков.
Когда тронулся поезд, девчачий вагон заревел. Так ревел, что мы слышали даже в вагоне своем, пока
поезд не разбежался и грохотом все заглушил.
Когда прибыли в Гомель, нам дали напиться воды. И только напились, как налетела бомбежка. Наши
бомбили!
Того самого немца носатого, что собачку ударил, убило!
-Так ему, гаду и надо! – сказали мы все.
Мы за дорогу сдружились. Друг для друга мы братьями стали.
С нами ехал Толик Дыбенко из Людкова, а с нашей Замишевской улицы – Толик Улитин. А Юрка
Присекин был с Ленинской улицы. А с Харитоновской улицы были Валька Высоцкий и Володька
Курлянчик…
А потом был Бобруйск. А в Бобруйске комиссия. Немцы-врачи в нас искали заразу какую-то.
Каждый очень хотел, чтоб нашли у него. Не нашли...
Потом была Польша и лагерь какой-то. Наших девчонок оставили там, а нас потащили дальше.
Через неделю в Германию прибыли. Привезли прямо в город, в штадт КДФ, завод Фольксваген,
Лагерь номер 925, Stadt DS KDF Wagens.
 Хлеба дали и грамм по сто хамсы. Как все это съел – не заметил: в поезде нас почти не кормили.
Потом в баню. Из бани – в бараки. В бараках по штубам, по комнатам. В каждой штубе по 30
человек.
На нашу одежду каждому нашили цветки. Мне досталась ромашка белая.
Обули нас в деревянные колодки-долбленки. Немцы их называют клумпами.
Бегаем в них, как стучим молотками по полу цементному.
В этих клумпах-колодках по первости до крови натирали ноги. Перемучились крепко, пока на ходу
потертости не откровили да не замозолились. Теперь на ногах мозоли, будто копыта приросшие.
Помолись за меня, мамка родненькая! Ноги мои стали пухнуть. Будто водой набираются к вечеру. И
к утру до конца не проходит опухлость. Обуваться мне больно. После подъема в строй стал
опаздывать. А хохол-полицай специально стоит надо мной. Ждет предатель. Ждет, чтобы
палкой огреть или своим сапожищем меня в строй зашвырнуть.
Спим на нарах, на досках голых. В чем работаем, в том и спим. Ни подушек, ни простыней.
Если кого убивают в кацете, то одежду его нам бросают. Перед расстрелом раздевают догола.
Пристрелят и в яму. Яма глубокая. Засыпают не сразу, а когда наполнится.
Яма стоит и ждет.
Из новозыбковцев наших, вчера убили Толика Сергиенко с Привокзальной улицы. Он что-то съел на
кухне, когда там работал. За это его расстреляли… Теперь он в той яме лежит. Лежит на боку,
присыпанный чем-то белым, и щеку ладонью от нас закрывает…
А мы присмотрелись и видим, что глаз у Толика открыт…
В три тридцать утра подъем. Начало работы в четыре утра. Работаем до 20 часов. Отбой - в 23.
До отбоя бьем вошей и одежду латаем. На ней латка на латке…
Раз в неделю вошепарка. Пока наши одежки жарятся, нам делают баню. Загоняют в коробку по 50
человек и четверо полицаев по углам поливают нас из шлангов. Мы корчимся под холодной водой, а
немцы охраны и полицаи гогочут.
Вместо мыла дают каустическую соду.
В бараках, где спим, на завтрак – болтушка. В ней лягушки и пиявки… Воду немцы для нас достают
из пруда. Для смеху, наверно. Прямо с тиной и всем, что поймается.
Кто-то ест, я не ем… Нас много таких, кто не ест ихний завтрак, фрюштюк с пиявками вареными.
«Данке шеен», - говорим, хватаем свой хлеб и бежим на работу. Полицаи и немцы хохочут и палками
нас подгоняют, чтоб бежали быстрей.
На работе мы ждем обеда.
Столовая на заводе. Там болтушку дают настоящую. В ней брюква, отруби и полова какая-то… На
ужин опять болтушка и хлеба сто грамм.
У меня есть чахоточный немец знакомый, что на маленьком прессе работает. Как его звать – не
говорит Ему сало по норме положено. Иногда и меня угощает. Очень тонкий-претоненький листик
прозрачного сала дает и хлебца кусочек с коробочку спичечную. На станину пресса положит и
пальцем покажет, и все озирается, чтоб никто не заметил. Иначе накажут его, что русского кормит.
Для меня это праздник. Но такое бывает нечасто.
Когда ему нечего дать, он украдкой разводит руками, морщит заботой лицо и вздыхает.
Когда пересмена, к этому немцу частенько заходит военнопленный француз. Он рассказывает что-то
по-немецки и смеется, а немец только головой кивает и пресс готовит к передаче сменщику. Он
серьезный всегда, этот немец чахоточный.
Я выгребаю обрубки из-под пресса и жду, когда француз уронит в бункер для меня пару вареных
бульбинок «в мундире» или сухарик. А бывает и кусочек сахара. Эти пленные французы всегда что-
нибудь нам приносят.
Труднее всех русским. Если Красная Армия где-то опять одержала победу, обеда нам нету. Немцы
злятся и зло вымещают на нас.
Русских здесь называют Остатками Сталинских Тварей. А сокращенно – ОСТ.
Но немцы уже не те, что были в 43-м. Одни злобствуют люто, другие придавлены страхом.
Раньше, когда мы по цеху стадом бежали к тележкам своим, немцы-рабочие громко смеялись и
подгоняли нас криками:
-Шнель, шнель! Лос, лос!
Теперь, когда Красная Армия близится к нам, а эхо разносит по цеху не сыпанину шагов, как было
раньше, а шагом единым наши колодки стучат, потому что мы бегаем в ногу теперь – немцы уже не
смеются. Они хмуро глядят из-за прессов. Слушают молча наш грохот колодочный.
Да и мы изменились. Знаем теперь, за что и когда нас они могут убить.
Оттого, что мы в страхе всегда, мы к нему притерпелись. Только к побоям привыкнуть, наверно,
нельзя…
Есть тут рыжий один из охраны немецкой. Адольф! Этот бьет с наслаждением. Врежет палкой и
смотрит, как корчишься ты. А в глазах звериная радость:
-Руссишь швайне, табе горошо?
Этот рыжий Адольф все косился на Тольку Дыбенко. Среди нас Толик самый здоровый и крепкий и
этим не нравился рыжему фрицу. И однажды, без всякой причины, налетел на Дыбенко и стал
избивать.
А Толик в фашистскую хорю смотрел без боязни. Не кричал и не плакал! И рыжий совсем озверел!
Убил бы, наверно, да мастер один помешал. Поднял Толика с пола и в каптерку свою отвел. Теперь
мастер на сварщика Толика учит.
Мамка родненькая, я молюсь постоянно, чтобы выжить. Две молитвы я знаю теперь. Друг у друга мы
научились еще по дороге сюда. Дома учить не хотел, когда ты заставляла. Ты за все меня, мамка,
прости…
И прости меня, мамочка родная, если я не вернусь. Не дождусь Красной Армии. Если тут меня
палкой прибьют. Или может свалюсь от болезни какой. Меня просто пристрелят тогда, а лохмотья
мои другим отдадут. В том не будет вины моей, мамка моя…
Как мне стыдно бывает, когда меня бьют. Стыдно мне оттого, что я не могу защититься, а ты
смотришь и смотришь… На меня непрестанно все смотришь. На меня и на нас…
Мамка родненькая! Ты икона моя! Ты в синем угаре пролета стоишь над прессами! И муки видишь
мои и наши. А может, и плачешь неслышно, как там у вагона… Я плакать уже не могу: полицаи и
немцы повыбили слезы из нас.
Только осталась во мне последняя просьба к Богу:
-Боженька миленький! Я – ОСТ 3468! Сделай так, чтоб меня не убили сегодня! И сегодня и завтра! И
потом! И всегда! Если б ты только знал, как мне хочется жить!..